

Валерий
Миловатский

На путях
самопознания



Валерий Миловатский

На путях самопознания

«Алисторус»

2026

УДК 24-317
ББК 84стд1-442.3

Миловатский В. С.

На путях самопознания / В. С. Миловатский — «Алисторус»,
2026

ISBN 978-5-00269-188-3

С раннего детства меня влекло к пережитому, вновь и вновь оживающему и повторяющемуся благодаря воспоминаниям. Как сладостны, как священны эти часы воспоминаний! Но что это? Самолюбование? Эгоцентризм? Ограждение своих «владений» (Бердяев: «Я феодал в своём замке»)? Нет и нет! Это побуждение ко всё более глубокому познанию мироздания, бытия, к самопознанию тайны своего Я. В этих воспоминаниях о себе и о своих близких есть что-то притягательное, верное и таинственное. Проясняют ли они тебе себя самого, твою судьбу — затрудняюсь сказать. Во всяком случае, понять себя, начиная с самых истоков жизни, значит осознавать себя, прибавлять себе силу жизни. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 24-317
ББК 84стд1-442.3

ISBN 978-5-00269-188-3

© Миловатский В. С., 2026
© Алисторус, 2026

Содержание

Кое-что о моих предках	6
Дедушка Иван Григорьевич	8
Меловатские (о предках папы)	12
Мамуся	15
О родителях	17
Мама	18
Папа	21
В начале жизни	25
Волконка	29
Жизнь на Воробьёвке	30
Звёздная встреча	33
Косые лучи солнца	34
Собственно Волконка. В новом доме	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Валерий Миловатский **На путях самопознания**



© Миловатский В. С., 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

Кое-что о моих предках

Мне всегда хотелось знать побольше о своих дедах и прадедах; хотелось как-то воскресить их хотя бы в воспоминаниях. В детстве, когда бывало грустно, иногда казалось, что рядом со мной присутствует их сочувственное внимание. Голос рода, голос моей конкретной преджизни был мне внятен и дорог.

К прискорбию моему, я совсем мало знаю о моих предках, о моём роде. Ещё меньше о них знают ныне здравствующие мои родственники. А ведь как существенно, как важно передать эти знания нашим детям и внукам: знание своей родословной – это мерило личности.

* * *

Обе ветви моего рода – материнскую и отцовскую – я знаю лишь до третьего колена, до прадедов включительно. И отцовская (Меловатские), и материнская (Орловы) родня – представители русского народа, самой основы его, крестьян и ремесленников.

Начну с маминого рода. Мой прадед Григорий Александрович Орлов, глава большой и крепкой семьи, жил в деревне Брыковке Духовницкого района Самарской губернии (ныне Саратовской). Брыковка расположена на реке Стерех, на левобережье Волги, в 20 километрах от неё. И Брыковка, и посёлок Духовницкое расположены напротив города Хвалынска, находящегося на противоположном берегу Волги. Все названные населённые пункты существуют и ныне, с теми же названиями и на тех же местах. И обозначены на современных картах.

Григорий Александрович пережил нелёгкое детство, может быть даже был сиротой. От мамы и тёти Нины (маминой сестры) я узнал, что в юности он батрачил то пастухом, то на мельнице, владельцем которой был «барин». Был ли это настоящий «барин» – неизвестно. Трудолюбивый и Боголюбивый паренёк понравился «барину» (а может быть, и его дочери Матрёне), и он выдал за него свою дочь. Таково предание.

Прадед был поистине большой труженик, работал с раннего утра до ночи. Обзавёлся добром, построил дом, вырастил сад. В своей многочисленной семье держал порядок. Моя тётя рассказывала, что она любила поболтать за обеденным столом, и за это ей доставалось от бабушки Гриши деревянной ложкой по лбу. Были случаи – и соль на язык ей насыпал.

Известно, что у него в келье, сооруженной в саду, жил какой-то монах. После революции 1917 года этого монаха посчитали за батрака, эксплуатируемого прадедом. Да и дом показался слишком большим. Вот и отобрали и дом, и всё его хозяйство, а самого отправили в ссылку в Котлас, на север.

Дом же и всё хозяйство прадеда были нажиты неустанным трудом его семьи. Это была большая и трудолюбивая семья. У него было четыре сына (Никифор, Василий, Иван и Пётр) и пять или шесть дочерей (Мария, Пелагея, Александра, имена других не знаю). Старший из сыновей, то ли Никифор, то ли Василий – выучился в Петербурге на инженера. У меня хранится копия фотографии семьи прадеда, сделанной в 1929 году за несколько дней или недель до его ареста и раскулачивания. На ней почти все его дети, невестки, зятья и внуки. Десятилетняя моя мама Лидия сидит рядом со своей младшей сестрой Ниной. Никифор Григорьевич, солидный и в форменном кителе инженера. По всей видимости он и был инженером. Удивительно, но кто-то надоумил Григория Александровича сфотографироваться с семейством, и они успели сделать это накануне ареста.

Есть интересное предание, услышанное мною от тётей Алевтины и Веры Орловых, дочерей деда Ивана Григорьевича (от второго брака), о том, как возникла их фамилия Орловы. Как-то на военном смотре в Петербурге царь обратил внимание на храбрых молодцов, на их

выправку в строю и спросил: «Чьи будете?». Они ответили: «Городецкие». «С сегодняшнего дня вы будете не Городецкие – а Орловы!», – сказал царь. С тех пор и стали они прозываться Орловыми.

Дедушка Иван Григорьевич

Каков был мой дедушка Иван Григорьевич Орлов? Видел я его один раз в жизни, когда в 1962-ом году он приезжал из Иркутска навестить своих дочерей от первого брака. Сначала к моей маме в Усть-Лабинск (это на Кубани), а затем к тётке Нине в Калининград (бывший Кёнигсберг). Осенью 1962-го года, не пройдя по конкурсу на исторический факультет Ленинградского университета, я приехал в Калининград к своей крёстной, тётке Нине. Там и увидел Ивана Григорьевича. Среднего роста, крепенький, смуглый, с карими спокойными и какими-то молчащими глазами. Ещё не очень седой, с бородкой, он выглядел моложаво для своего 62-летнего возраста. И руки у него были крепкие, рабочие. Был он однако немногословен, и я почти ничего не услышал от него о его жизни. Оно и понятно: в советские времена люди воздерживались откровенничать о перипетиях своей, часто непростой, судьбы. Зная, что он был раскулачен и сослан, я остерегался затевать разговор на эту тему, да и вообще сам был как-то скован в общении с ним. В Калининграде был он дней десять, а затем уехал к себе, в Сибирь, в Иркутск. Больше я его не видел.

* * *

К этому хочется добавить следующий эпизод. В августе, пока я был ещё в Ленинграде и проводил целые дни в Публичке, мой питерский родственник Борис Николаевич Иляков со своим другом Юрой решил отправиться в отпуск к Чёрному морю на «Волге» Юрия. Это было замечательно придумано! Во-первых потому, что я остановился на василеостровской квартире Бориса и мог почувствовать себя свободнее. Во-вторых, он мог на этой «Волге» заехать к моим родителям в Усть-Лабинск и привезти свежие впечатления от поездки.



Орловы – предки со стороны мамы

А случилось так, что Боря приехал в Усть-Лабинск как раз в то время, когда там гостил дедушка Иван Григорьевич. К этому времени он отремонтировал в нашем доме чью-то кровать, ещё что-то и уже скучал. Вдруг к воротам подъезжает «Волга» и из неё выходят питерцы Борис и Юрий. Это был настоящий сюрприз.

Мой папа, смекнув данное обстоятельство, решил воспользоваться им и показать гостям свой Усть-Лабинский сортоучасток. Усадили Ивана Григорьевича в машину, и вчетвером – папа, дедушка, Боря и Юра – важно покатили. Подъезжая к саду, папа распределил роли: солидного, с бородкой и в шляпе дедушку, он «назначил» профессором из центра, Борю ассистентом, Юру шофёром. Перед сотрудниками сортоучастка он назвал гостей представителями Москвы – и они, важно расхаживая по саду, восхищались плодами и слушали пояснения папы. Такие вот проделки вытворял мой папа. Всё это, смеясь, рассказывал мне Боря, когда вернулся из своего южного путешествия.

* * *

Интересуясь своими предками, я собирал о них сведения, расспрашивая родственников. И вот в 2007-ом году Вера, дочь деда Ивана Григорьевича от второго брака, прислала о нём интересное письмо. Привожу его дословно. Из письма Веры Орловой от 4 июля 2007 года: «Давно собиралась выполнить Вашу просьбу и, наконец, собралась. Пишу о твоём дедушке и нашем папе, Орлове Иване Григорьевиче.

Папу мы не просто любили, мы его обожали так же, как и маму. Мне кажется, это был самый лучший отец в мире. Он был нам не только отцом – другом, бесценным советчиком, помощником, эталоном доброты и человечности, образцом искреннего милосердия. Мы благодарны судьбе и Богу, что у нас был такой отец, бесконечно обожаемый нами.

Я помню, в нашем доме было всегда много людей, они подолгу жили у нас. Это папа приводил их, потому что им некуда было деться, они были несчастны, им было хуже, чем нам, ведь и нам жилось тяжело, трудно.

У отца были золотые руки, и он всё и всем делал, ремонтировал бесплатно и от всего сердца. Папа был всего слесарь, **но какой слесарь!** Академик! Когда он работал в Канске на камвольном комбинате, тогда там был главным инженером внук Саввы Морозова, тот в самых трудных случаях обращался только к отцу. Огромные прядильные цеха, где работали сотни машин, обходил всегда с отцом. (Я ведь тоже после 10-го класса работала на этой огромной фабрике).

Папа закончил всего четыре класса церковно-приходской школы в селе Брыковке, Духовницкого района Самарской губернии. Родился он 3 марта 1900 года. Образования получить не успел. После 1917 года их раскулачили. Я знаю, что дедушку моего Григория сослали в Котлас, где он и умер.

А отец, скрываясь, потому что был сын «кулака», устроился возчиком хлеба и возил хлеб в ту тюрьму, где сидел дедушка, и имел возможность подкормить его.

Работал маслёнщиком на Каспии, строил заводы в Москве и в Сибири. В гражданскую воевал в армии «белых», помнил и видел **гибель Чапаева**. А потом, как Григорий Мелехов из «Тихого Дона», воевал в «красных» в Средней Азии.

Я удивляюсь, как папа, имея всего 4 класса образования, решал нам задачи за 8–10-ые классы. Я удивляюсь, как отец, столько пережив, оставался добрым и великодушным. Он был очень верующим человеком.

Правда, иконы у нас висели за шкафом, ведь всё это преследовалось. Уже в пожилые годы ходил в храм, и очень часто, и говорил: «Для вас театр, а для меня церковь». Но папа любил и театр, и они с мамой иногда ходили. Читать любил исторические произведения.

Я училась на филологическом, читать приходилось много. Перед экзаменом не успевала и давала всем задание: Алёне, маме, папе прочитать то или иное произведение, а они, прочитав, пересказывали мне. Помню папа пересказывал мне «Князя Серебряного» А. Толстого. Сестре же Алёне, учившейся на художника, папа перед просмотром оформлял живописные работы, делал подрамники, натягивал полотно. А когда Алёна защищала свой диплом, присутствовал на её защите, хоть она и протестовала.

Когда началась война, мы тогда жили в Улан-Удэ, папа работал на военном заводе. Ему трижды приносили из военкомата повестки, мама трижды собирала его, но трижды приезжал директор завода Стругацкий и увозил отца на завод, доказав в военкомате, что отец – незамеченный работник. Домой он не приходил, ночевал на заводе, и мама носила ему еду на завод.

В 1943 году папа получил язву желудка. Он был так слаб, как скелет, как из концлагеря, что хирург Урбанов отказался делать операцию. Положили его на дровни, привезли домой, внесли в дом на руках. Умирать. Мама, как сестра милосердия, выхаживала его, и выходила. Продали всё, даже из одежды, но отца поставили на ноги. Фельдшер посоветовал пить розовую марганцовку (рюмочку), заедать сливочным маслом, запивать морковным соком. Мама сбила все руки, натирая морковь по четыре стакана ежедневно. А морковь мама привозила на себе из подсобного хозяйства. Это директор завода Стругацкий дал указание.

В конце войны его сбило из-под купола завода горячим паром. Он был обожжён весь и лежал под стеклянным колпаком. Опять выходили, и опять он день и ночь на заводе.

А дома что только папа не делал: то крышу перекрывает, то пол перестилает, то новый туалет делает, то для скотины стойку перестраивает, то сено заготавливает, то вязальные машины ремонтирует...

Папа не пил, иногда скажет маме: «Так хочется кагора». Мама купит, и он эту бутылку пьёт год. У нас, хоть и военное было время, было спокойное детство, были мир и любовь в семье. Все очень много работали, да и у нас, детей, было много обязанностей. Ну, а мама и папа, как белки в колесе.

Мы гордились своим отцом. Бывало, я бегу из университета в светлом, но бедненьком платьице, а папа возвращается с работы в рабочей мазутной одежде. Я подбегаю, беру его под руку, я с любовью, а он с гордостью, и мы идём и разговариваем, разговариваем.

Папа умер от инфаркта, упал и умер. Ему было 70 лет. Умер он 4 апреля 1970 года. НКВД преследовало папу почти всю жизнь, как сына кулака, а значит – врага народа. Каждый четверг поздно вечером за ним приезжали: он должен был отмечаться в НКВД. А вся семья переживала, вернётся ли.

Когда нас ещё не было, мама с папой приезжали в детский дом (в Астрахань – авт.) забрать детей от первого брака (Лидию, Нину, Александра). Но Лида категорически отказалась».

Вот такой рассказ о нашем деде Иване Григорьевиче Орлове его дочери Веры. К этому можно добавить рассказанное моей мамой, которая больше всех была похожа на своего отца.

По её рассказу, папа с мамой (Параскевой) жили дружно, во всём помогали друг другу. «Даже вместе пельмени лепили», – хвалила она их. Арестовали её отца по наговору односельчанина – «партизана», приревновавшего его к своей жене, с которой папа больше, чем следует, разговаривал. Когда его арестовали, трое детей остались с мамой Параскевой (в девичестве Дьяковой (1901–1930)). Помощи ни от кого не было, они голодали. Чтобы как-то выжить, мама ездила по деревням, выменивала вещи на продовольствие. Однажды, поев с голодухи, она начала ворочать тяжёлые мешки – и случился заворот кишок. Страдала она очень, кал шёл даже через рот. Маленькие дети ничем не могли помочь. Старшей Лидии тогда было 11 лет. Умерла бабушка Параскева в возрасте 30 лет в 1930 году. То ли дальние родственники, то ли знакомые, Изюмниковы, определили всех троих детей в Астраханский детский дом, в кото-

ром мама с сестрой Ниной воспитывались до совершеннолетия. Братик же Шурик исчез ещё в малом возрасте: то ли умер, то ли кто-то его усыновил. Умершим мама его не видела.

Меловатские (о предках папы)

О своих предках со стороны отца я знаю не больше, чем о предках мамы. Семейное предание, подтверждённое косвенно историками, гласит, что род моего отца вышел с Украины, с **Полтавщины**. Дело в том, что Пётр I за какие-то заслуги пожаловал графу Бутурлину воронежские земли, а в придачу к ним подарил полтавских крестьян, которые должны были переселиться из-под Полтавы под Воронеж. Таким образом мои предки Меловатские и Полтавские оказались в Бутурлиновке, в Воронежской губернии, где и жили до советских времён.

Тётя Дуся, да и тётя Тося, говорили, что род их с Украины. Более того, что есть в нём какая-то доля польской крови. Это подтверждают их фамилии. И Полтавские, и Меловатские были из простого народа, из хлебопашцев. Мой прадед Иван Полтавский любил садоводство. У него был большой сад на берегу реки Осереда, яблоками из которого он угощал всех соседей. Кроме того, занимался пчеловодством, у него была пасека. Жену его звали Анной.

Мои тёти много раз вспоминали такой случай, как однажды перевозя ульи с пчёлами на новое место, он попал в беду. Дело было ночью, так как пчёл можно перевозить только ночью, когда они спят. Где-то в поле его воз с пчёлами опрокинулся. Ночь, кругом ни души. Дед стал просить о помощи Николая Угодника, которого он особо почитал. Откуда ни возьмись, подходит к нему мужичок и помогает поставить телегу на колёса. Дед хотел поблагодарить его, обернулся, а того и след простыл. Стал звать: «Раб Божий, где ты? Отзовись?» Но никто не отозвался. Он и решил, что это был сам Николай Угодник. Замечу здесь, в роду Полтавских, был и богомаз, то есть пишущий иконы. Сам же наш прадед Иван был осанистый, крепкий, высоколобый и верующий.

* * *

О прадеде Меловатском я ничего не знаю, кроме того, что его звали Фёдором и что он, по всей видимости, был верующим. Заключаю хотя бы из того, что его сын Пётр, мой дед был определённо верующим.

Как-то тётя Тося рассказала мне такой характерный случай. Будучи ещё девочкой, ехала она однажды с «папаном» (так в их семье называли папу) через незнакомое село. Увидела она, что «папан» раскланивается с каждым встречным и спросила его: «Папан, почему вы им кланяетесь? Вы что, всех их знаете?» «Нет, доца, я их не знаю, но я кланяюсь их ангелам-хранителям», – ответил он. Кроме того, тётя Тося сказывала, что мой дедушка в детстве остался без матери и, что его отец в дом привёл мачеху. По великой нужде маленький Петя ходил с шапкой по людям за подаванием. В воскресный день в храме во время службы он собирал подати на блюде, а грамоте обучился у дьякона. А ещё никогда не чертыхался.



Полтавские – предки со стороны отца

Несколько лет назад я держал в руках старую Псалтырь, толстую книгу на церковно-славянском. Она досталась моей сестре Анне от тёти Дуси после её смерти. С внутренней стороны обложки была подпись «Псалтырь Петра Фёдоровича». После этого я уже не задавал вопросы, был ли верующим мой дед Пётр Фёдорович Меловатский (1846–1936(?)).

Вид у него был благообразный: высокий, прекрасной формы лоб, правильные черты породистого лица, аккуратная бородка, крупные руки. Особенно хорош был его сократовский лоб. Не для похвалы замечу, что формой лба я похож на него, да и в характере моём есть что-то дедовское. Говорили, что облик его напоминал Николая Угодника. Это заметил ещё мой прадед Иван Полтавский. Что, собственно, и сыграло решающую роль в том, что два эти рода – Полтавские и Меловатские – соединились.

Дело было так. Когда в 45-летнем возрасте Пётр Фёдорович, после смерти первой жены, оставившей ему четырёх дочерей, овдовел, мой прадед Полтавский решил выдать за него свою 19-летнюю дочь Марфу. Несмотря на большую разницу в возрасте (26 лет), на то, что у Петра Фёдоровича была куча детей (уже вполне взрослых!), и что у Марфы был молодой воздыхатель, отец велел ей выходить за вдовца. «Он похож на Николая Угодника», – говорил прадед. Это оказалось решающим. Пётр Фёдорович по моим прикидкам был 1846 года рождения, а моя бабушка Марфа Ивановна – 1872 года.

Дед был кожемякой, выделял кожи и продавал их артели сапожников. Пользуясь его податливостью, сапожники подпавали его и скупали кожу по дешёвке. Часто он от них приходил пьяный. Один случай, приключившийся с ним – о том, как однажды тётя Дуся нашла его пьяным на улице, я описал в «Руссии». Однако это обстоятельство не мешало ему пользоваться общим уважением ввиду его честности и справедливости. Цени эти качества, бутурлиновцы (собратья по ремеслу) неизменно избирали его на должность общественного банкира. За 30 лет у него ни разу не было недостачи. А когда он умер, его хоронила вся Бутурлиновка.

Случалось, что из ревности он поколачивал свою молодую жену. Но каково было ей, когда она пришла в семью, где его дочери от первого брака были старше её. Бабушка рассказывала, как она волновалась на Пасху, стараясь чтобы её куличи были не хуже их. Тем не менее, семья

была дружной и жизнестойкой, она родила от него восьмерых детей: четырёх девочек и четырёх мальчиков.

В 30-ые годы уклад семьи был нарушен: их посчитали кулаками и дом отобрали. Семья разбрелась кто куда. Измождённый сплошными переездами с места на место, дедушка Пётр заболел воспалением лёгких и умер.

Мамуся

Моя бабушка Марфа Ивановна Меловатская (в девичестве – Полтавская) (1872–1954 гг.) была замечательной личностью. Натура сильная, решительная, цельная и целеустремленная, она сочетала в себе глубокую религиозность с неутолимым стремлением к образованию и культуре, к значительным целям. Эти качества она старалась привить и своим детям. Словно, в ней постоянно действовал некий *regretium mobile* прогресса. Недаром её зять Пётр Иванович Дылёв говорил, что это «святая коммунистка».

Ещё девчушкой лет 13-ти она с паломниками пешком ходила в Киев, чтобы поклониться его святыням. Паломничала она и в Задонск к святителю Тихону Задонскому. Хотела побывать у Иоанна Кронштадтского. Однако уже у цели её постигла неудача. Что-то помешало попасть в Кронштадт, то ли ледоход, то ли что другое. Так и не довелось увидеть Иоанна Кронштадтского, ради которого она проделала столь долгое путешествие.

Бывала бабушка и в Москве с целью посетить Свято-Троицкую Лавру, Кремль, монастыри. Насмотрелась, как живут люди в столице и решила, что своим детям во чтобы-то ни стало даст хорошее образование. И будут они жить чисто и культурно, не хуже господ. «И венские стулья будут у нас такие же, какие я видела в Москве у господ», – сказала она, возвратившись домой.

Это была поистине целеустремлённая личность. Несмотря на бедность, она добилась того, чтобы все её дети получили хорошее образование. Они, действительно окончили: кто гимназию, кто техникум, а кто и институт. Трое из них получили высшее образование: Степан (мой отец), Иван и Нонна. Да и сама бабушка знала грамоту, читала Евангелие, книги, писала письма.

* * *

В мою сознательную жизнь бабушка Марфа вошла, когда мы приехали в Усть-Лабинск в мае 1950 года с Волконки. Мне тогда было почти шесть лет, Ане четыре с половиной, брату же Володе, родившемуся в пути при переезде, всего-навсего несколько дней. Переступив порог дома на улице Широкой, мы оказались среди многочисленной родни Меловатских: дядей, тётей, двоюродных братьев, сестёр. Старейшиной дома, как я понимаю, была бабушка Марфа Ивановна, которую все называли не иначе, как «мамусей». Тихая, добрая, спокойная, она была негласным главой жизненного уклада в доме на Широкой. И что характерно, я ни разу не видел её кричащей, гневной, ворчащей или скандалящей. Такое даже вообразить было невозможно. Она всё время что-то делала или молилась в своём уголке. Весь её облик, движения и прежде всего лицо, кроткое, доброе и крепкое, светло-карие глаза, умный и какой-то натруженный лоб и волевой подбородок, производили впечатление незыблемой крепкости и жизненности.

Хочу отметить, что лоб её был с чуть-чуть обозначенными надбровными дугами. Этот признак передался многим Меловатским, в том числе и мне. Другая часть её потомков унаследовала гладкие лбы, как у дедушки Петра. Меня «мамуся» называла Валяриком, что несколько забавляло меня.

Однако, при всей её уравновешенности и кротости, мамуся могла быть властной и требовательной. Тётя Тося рассказала, как однажды она девочкой мыла пол в своём доме и схалтурила. Мамуся посмотрела и сказала: «Вымыть, как следует!», – и ногой резко опрокинула ведро с водой. Маленькой Тосе пришлось перебивать пол. Для меня было удивительно слышать такое о своей тихой бабушке, которая никогда и голоса не повышала. Тем не менее, это была она с её решительным характером.

Вот как однажды это проявилось в трагические годы гражданской войны. Её старший сын Матвей был прапорщиком в царской армии. Во время гражданской он записался в белую армию. Как-то он заявился домой весь увешанный оружием и с двумя где-то «добытыми» лошадьми. Мамуся вышла к нему и самым решительным образом потребовала, чтобы он тотчас вернул лошадей туда, откуда взял, а оружие выбросил в реку. И он смиренно исполнил её приказание. Может быть, поэтому и прожил долгую жизнь.

Жила мамуся в семье тёти Тоси. Успевала и корову подоить, и обед приготовить, и за маленькой Любой (которой она и дала имя) присмотреть, и Богу помолиться. Каждый вечер, перед тем как все уgomонятся в своих постелях, она обходила комнаты и крестила окна и двери. По воскресеньям и по праздникам неукоснительно ходила в церковь.

И хотя она выглядела довольно крепкой, пришёл и её час. Случилось это так. Как обычно, на домашней молитве она делала поклоны – роковой тромб закупорил сосуд мозга. Её парализовало: отнялась речь и левая сторона. Инсульт. Месяца три неподвижно лежала мамуся в своём закутке на маленькой железной кровати и готовилась к отходу в мир иной.

За ней ухаживали её дочери: Тося, Нонна, Евдокия. Моя сестра Аня тоже дежурила у её постели, отгоняла мух. Когда подошёл час ухода, она знаками попросила, чтобы её перекрестили. Тётя Тося взяла её беспомощную руку и совершила ею крестное знамение на ней. Мамуся благодарно прослезилась... Когда она отошла ко Господу, мне было без малого десять лет. Перед выносом тела вся родня собралась у гроба, было сделано фото. Помню тревожное и какое-то отвратное, как тошнота, недоумение и протест в своей душе при виде бабушки в гробу. Остро ощутил тогда невозвратимость жизни и роковую неотвратимость смерти.

Над ней читала псалтырь маленькая, сухонькая и робкая монашка, с которой мамуся дружила. Она иногда приходила к мамусе, как-то тихо и незаметно. Кротость, почти пугливость этого существа, помнится, возмущала меня. Не знаю, насколько я был прав или неправ, скорее всего неправ. Уж такой она виделась мне, и таким был я... Что было, то было.

В детстве я живо чувствовал ушедших своих дедушек и бабушек, обращался в своей душе к ним и жалел их. Тайна их жизни, каждого в отдельности и всего рода в целом соприкасалась с тайной моей жизни. При этом она всё так же оставалась тайной, но такой, которая согревала, укрепляла, вдохновляла, не давала упасть духом.

О родителях

Познаём мы родителей наших ещё до рождения: через гены, через соприкосновение тел и душ, а затем, позже, рук и слов. К этому постепенно прибавляется то, что мы узнавали о них в течение жизни. В ходе жизни они и сами себя познавали вновь и вновь, как и мы – узнавая их, узнавали самих себя.

В высшей степени удивительно, как удаётся человеку, всю жизнь изменяясь, оставаться самим собой? Знаю о себе, какие изменения претерпели моё тело, характер, мировоззрение, мысли – но так же хорошо знаю, что в сокровенно-непостижимой глубине своего Я – я остаюсь всё тем же Валерием, каким и был с самого рождения. Это удивительно!

Образы моих родителей, как я их вижу и ощущаю, обретают целостность в моей душе как некий синтез целожизненных моих наблюдений, догадок, умозаключений, работы памяти и воображения.

Родители наши были очень достойными, культурными людьми. Это не только наше детское мнение, но и оценка сторонних людей, тех, которые хорошо их знали. Алевтина Ивановна Орлова, моя тётя по маме написала мне из своего Иркутска (письмо от 28 сентября 2015 года): «И ваша родовая Миловатские красивые душой, духом, телом, умностью». И там же: «Молюсь за Лиду (мою маму) и Степана Петровича (моего папу). Они были **особенные люди, духовные, порядочные**. Вера (её сестра) часто вспоминает их».

Нам, детям, казалось, что наши папа и мама всегда были и всегда будут. Что иначе и быть не может. Мы очень любим их, своих бесценных родителей; своих единственных, незаменимых, жизнерадостных и любящих. Каюсь, часто огорчал их. Но несмотря на это, я чтил их, как свою родную земную святыню. Как я радовался всегда при встречах с ними! Теперь их нет. Но я неустанно благодарю Бога за своих дорогих отца и мать.

Мама

Мую маму все находили красивой. Каштановые, слегка выющиеся волосы опрятно обрамляли её замечательно хороший лоб, всё её смуглое лицо с правильными чертами. Живые карие глаза, аккуратный носик, красивые губы – всё гармонично сочеталось в её живом и приятном лице. Особой приметой была родинка над бровью. Она смущала её. И в конце концов, уже в 45-летнем возрасте она удалила её. Несколько несоразмерно велики были уши с приросшими мочками. Но они не портили её лица, так как были скрыты пышными кудрями. Такие же, с приросшими мочками уши, унаследовал и я. Многое и в характере моём от характера мамы.

Мама была очень фотогенична и всегда хорошо выходила на фотографиях. Всем своим обликом, своим изяществом она напоминала индуску. Я всё удивлялся, как поразительно она походила на Индиру Ганди. И глядя на неё, всякий раз вспоминал это.

Роста она была среднего, сложена гармонично. Ловкая и гибкая, мама была неутомима в работе. Но спортом никогда не занималась, разве что в преклонном возрасте, делая гимнастику, разрабатывала окостеневавший тазобедренный сустав. Да ещё делала дыхательную гимнастику по-Бутейко. Плавать умела лишь по-собачьи. Небольшие кисти её рук были бы безупречно прекрасны, если бы не коротковатые ногти, которые она неизменно коротко подстригала.

Мои руки соединили в себе крупность папиных рук с их благородными светлыми полуньями на ногтях и изящество и выразительность маминых. Пальцы же мои получились довольно длинными, как говорили, «музыкальными». Вообще-то, я больше похож на папу («папин сын»), вплоть до некоторых телесных неправильностей и склонностью к ряду его недугов. Но многое взял и от мамы.

В духовно-нравственном плане личность мамы была ещё более яркой и притягательной. Её можно было отнести явно к художественному типу. Эмоционально она была очень подвижна, всё воспринимала больше сердцем, нежели умом. Живая и горячая – огонь в работе и действии. Всё у неё в руках «горело» (её выражение!), всё она делала быстро. Не оставалась холодной и безразличной ни к чему; чуткая ко всему доброму и прекрасному. Особенно чуткой была к чьему-то горю. Сопереживание и сострадание к человеку у неё были врождённые. Плакальщица за всех и за вся: хоронят ли кого, несчастье ли у кого – всё вызывало у неё отклик. Когда она плакала о ком-либо, лицо её с морщинкой в избровье удивительно напоминало Богородицу, какой она изображена на некоторых иконах, например – на «Лидской». В таких случаях лицо её принимало такое жалостливое, радетельное и вещее выражение, что располагало меня и «Мати Всепетую» воспринимать, как родную, всей душой! Когда я был маленький, мама говорила, что я жалостливый. Может быть, так и было – ей виднее.

Также близко к сердцу она принимала и наши детские обиды и проблемы. В старших классах мне очень нужен был роман Толстого «Война и мир» – она тотчас нашла и купила мне все четыре тома. Мне они и поныне дороги. Когда я учился в университете Новосибирского академгородка, я очень нуждался в квартире: из-за её отсутствия срывалась моя учёба. Приехав в Новосибирск, мама фантастически быстро нашла мне квартиру в самом академгородке. Много было и других случаев.

Чуткость её доходила иногда до какой-то интуитивной, даже мистической остроты. И тогда она действовала так, как диктовал ей её внутренний порыв, некий призыв. Когда я родился, она почему-то назвала число 26 – в 26 лет я и женился. Она дала мне имя, а затем решила меня крестить, в необходимости чего убедила и моего папу. Для этого нашла в разбомблённом Сталинграде действующий храм и окрестила. (Сталинград – город моего рождения.)

Несомненно, она была одарена и певческим талантом. Всё у неё для этого имелось: музыкальный слух, прекрасный гибкий голос, и самое главное – артистическая душа. У неё была **певчая душа**. В девичестве мама с успехом пела на сценах Астрахани (она там жила), в частности арии из «Евгения Онегина». Ей даже предлагали профессиональное поприще там в театре. Сходу подхватывая мелодии, услышанные в кино или по радио, позже что-то делая по хозяйству, прекрасно напевала полюбившееся. Она была словно певчая птица: её звонкий голос часто звучал, то в огороде, то в доме, когда она стряпала или шила.

Свою любовь к опере «Евгений Онегин» она пронесла через всю жизнь! В начале 1980-х годов мама гостила у меня в Ленинграде, и я водил её в консерваторию на «Евгения Онегина». Исполнение было чудное и доставило ей большую радость. На протяжении всей своей жизни она «примеряла» к себе образ Татьяны; плакала над страницами пушкинского романа и говорила нам, что папа уговорил её выйти за него, но он не тот, за кого бы она хотела замуж:

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна... – вздыхала она.

В маме – моё лирическое начало.

Другим дарованием её был талант общения. Она великолепно владела богатой, правильной и гибкой речью, часто оснащая её народными речениями и поговорками. Быстро находила общий язык с людьми, располагая своей речью их к себе. Легко знакомилась, и где бы ни жила – везде её знали и любили. Впрочем, этим она никогда не хвалилась, не выпячивалась, была проста и скромна. Правда, каких-то особых друзей у неё не было. Разве что соседка-старушка Кирилловна была её постоянной и любимой собеседницей. Недоброжелатели и завистники тоже были, в основном по бытовым обстоятельствам.

Мама, воспитываясь в детдоме, закончила фабрично-заводское училище («ФЗУ» – говорила она), где приобрела профессию слесаря. И подчас сама делала кое-какие ремонты в доме. Руки её были работливые, а голова сметливая и она иногда удивляла нас своими изобретательскими способностями при решении бытовых технических проблем.

Если к этому добавить, что при необходимости она могла подоить корову, зарубить курицу; не боялась никакого, даже самого грязного труда; делала всё быстро и легко, как говорится, всё горело у неё в руках, то можно представить, какой это был *perpetuum mobile*. Благодаря этому в семье все всегда были вовремя накормлены и ухожены, в доме и огороде – полный порядок. Без каких-либо напоминаний она стремительно делала свою работу, не откладывая «на потом». Какое-то врождённое понимание своего долга побуждали её рано вставать, затапливать печь, готовить завтраки, бегать на рынок и т. д. Частично это чувство долга передавалось и мне: я не могу видеть, как насущные дела откладываются, необходимое забывается и не выполняется.

Нельзя не отметить ещё одно её уникальное качество – **неиссякаемый оптимизм**! Неумение унывать, пожалуй, самая характерная её черта. Чего, казалось бы, проще: не унывать – и всё. Мне это ужасно трудно. Для неё же это было просто. Она не опускала рук в различных трудных ситуациях, даже там, где оптимисты пасовали. «Нельзя унывать, всегда есть выход из трудного положения! Терпение и труд всё перетрут», – часто говорила она. Не стеснялась обращаться за помощью к людям и практически всегда получала её. «Мир не без добрых людей: везде есть добрые люди, они всегда помогут, не оставят в беде», – твердила она, как «Отче наш». Это было её крепким убеждением, которое у неё всегда оправдывалось.

Своей самоотверженной отзывчивостью на всякую беду или нужду мама вызывала неподдельную встречную приязнь и благожелательность окружающих людей.

Ей органически было присуще **артельное начало**. Не то, чтобы она сама была каким-то организатором. Нет, но когда появлялось дело и надо было его исполнить, она с готовностью включалась в него и своей энергией и оптимизмом **зажигала** нас и других людей. По её убеждению, та или иная жизненная задача безотлагательно должна быть решена: на то и жизнь,

чтобы жизненно необходимое воплощалось и решалось. Живчик она была беззаветный. Благодаря маме наши многие проблемы разрешались и можно было жить дальше.

Жизнерадостность её добрым потоком изливалась на нас – в её присутствии мы чувствовали себя благополучнее и увереннее. Бывало, конечно, что она могла всплакнуть по какому-нибудь поводу, и даже иной раз так горько, что у нас детей, душа заходила от острой жалости к ней. Но жизнь продолжалась, и она, утеревшись платочком, постепенно включалась в её круговорот со всей своей энергией. Будучи простодушной, как ребёнок, она не любила хитрецов и обманщиков, и сама не хитрила.

И ещё штрих. Целомудренная застенчивость оставалась у неё до последних дней. Когда незадолго до смерти, мы с Аней обрабатывали её гноящиеся пролежни, она, преодолевая боль, в смущении всё старалась натягивать на колени свою рубашонку, хотя и едва осознавала происходившее.

Папа

Папа, можно сказать, был противоположностью мамы. И однако же они приладились друг к другу и во многих отношениях даже дополняли один другого.

Высокого роста (177 см), крупного телосложения, большеголовый, широкогрудый – он выглядел богатырём. Все Меловатские были крупные, особенно мужчины: дядя Матвей, дядя Ваня, папа. Черты лица его были под стать его сложению: прекрасный большой лоб с заметными надбровными дугами (впрочем, у меня к 70-ти годам они обозначились сильнее, чем у папы); крупный, чуть с горбинкой нос; небольшие серые с зеленоватым оттенком глаза; широкий рот, но губы не толстые; характерная «ямка» на подбородке, раздваивавшая его. Уши с хорошо выраженными мягкими мочками – «буддистские». Одна ключица выступала больше – подобное и у меня. Лоб и нос у меня тоже «папины». В детстве глаза мои были зелёного цвета. Это огорчало меня, хотя и у Пушкина, и у Бетховена тоже были зелёные глаза. В более позднем возрасте глаза у меня сделались тёмно-серыми, почти синими. Ладони крупные и мягкие, но, когда он сжимал кулак – это было нечто внушительное. Кожа белая и толстая.

Папа был спокойный, степенный и рассудительный. Никогда не суетился и не бегал. В нём были некая важность и даже повелительность, которые великолепно сочетались с его добродушием и снисходительностью.

Он был человек масштаба. Любил замыслы с размахом, дела незаурядные. Это отвечало как физическому, так и психическому его складу. Он не боялся больших дел, решительно брался за них и энергично осуществлял. Он мог бы руководить институтом или заводом, а может быть, и министерством. Судьба однако определила ему гораздо более скромное поприще – быть заведующим госсортоучастка по испытанию новых сортов фруктовых культур.

Я чувствовал нереализованность его потенциала и в связи с этим его надежду на то, что я восполню несделанное им и совершу нечто значительное. «Постигай науки, добивайся больших целей, не теряй времени, не паси задних», – повторял он. Как он гордился тем, что я закончил университет и стал учёным! Очень хотел, чтоб я защитил диссертацию. Несомненно, папа желал, чтобы я преуспел больше, чем он. Гораздый на придумки, на всё оригинальное, он приветствовал полёт моей мечты и поощрял мои дерзания в науке.

Как он общался с людьми? Если мама в простодушии своём говорила со всеми просто и о простых вещах, то папа имел гораздо более широкий спектр общения: к каждому он подходил сообразно с его статусом и индивидуальными особенностями. С академиками и министрами – на их языке, с крестьянами – по-крестьянски. В нужных случаях он был дипломатичен. Однако, с кем бы он ни говорил, он не изменял чувству собственного достоинства. Думаю, что это свойство было у него врождённым.

Его достоинство и степенность проявлялись во всём: рассказывал ли он что-нибудь, наставлял ли, принимался ли за работу, трапезничал ли... Не любил, когда что-либо делалось кое-как, «спустя рукава» (его выражение). «Хорошее вино подаётся в хорошей посуде – тогда и вкус другой», – говаривал он. При всей своей солидности он не был лишён живости и какой-то житейской, крестьянской смётки, которая часто выручала его.

С природой у него были свои особые отношения: он великолепно понимал её и как-то очень органично сосуществовал в дружеском согласии с нею. В его чувстве природы было что-то толстовское или гётевское. Он был доверительно на ты с землёй и растениями, с животными, водами и мёртвыми породами, вообще с природными стихиями. И был спокоен, как сама матушка-земля. Это удивительно сопрягалось в нём с радостным, каким-то весенним восприятием жизни. Он радовался сам, умел порадовать и других. В общении с детьми он с удовольствием затевал с нами «скачки нубийской конницы», сам изображая коня. Это вновь и вновь давало мне повод сравнивать его с Толстым.

Духовное естество его было радостным, озорным, мечтательным, увлекающимся, удивляющимся и по-детски простодушным. С ним хорошо было общаться, размышлять, работать и просто находиться рядом. При некоторой меланхоличности, он был жизнерадостным и оптимистичным. Несмотря на всякие жизненные передражки, не утратил активного вектора своей личности, всегда стремясь найти выход из трудного положения. Почти всегда ему это удавалось. В этом было общее у него с нашей мамой.

* * *

Верил ли папа в Бога? Непростой вопрос. В детстве (конечно ещё до революции!), как и все в его семье, он был крещён. Мальчиком мамуся брала его с собой в храм, где он даже пел в хоре. Однако в нашей семье крестика на нём я никогда не видел. Когда моя мама в 1944 году меня крестила, папа отнёсся к этому довольно снисходительно, как к женской слабости.

В революционные годы (в 1918–1919-ые годы) учась в сельскохозяйственном техникуме в Конь-Колодезе, он записался в комсомол и был активным комсомольцем. Это продолжалось до тех пор, пока белоказаки Мамонтова не налетели на техникум и не зарубили двух комсомольских вожаков из их студенческой группы. Папа чудом остался цел – только шрам от соскользнувшего удара пашки остался на его лбу. После этого он уже ни в комсомоле, ни в компартии не был до конца жизни.

Меня он не наставлял в православной вере. Когда в школьные годы я увлёкся учением Маркса, он отнёсся к этому уважительно. У него самого была «Диалектика природы» Энгельса и ещё несколько книжек подобного рода. Да, он считал марксизм передовым учением, однако мне его не проповедовал, и вообще безбожие не одобрял. Мне он предоставлял свободу веры и мысли. И я весьма благодарен ему за это.

Приобщать меня к вере взялись его сёстры: тётя Нонна, тётя Тося и тётя Дуся. Папа не возражал. Похоже, у него было гётевское отношение к вере: тесно общаясь с природой, он больше доверял её силам и законам. А ещё науке. Что же касается Бога, то он не отрицал Его, но эта сфера для папы, говоря философским языком, была, по-видимому, вельми трансцендентной.

С мамой моей он не венчался, да и в храм на богослужения не ходил. За всех ходили мамуся и тётя Дуся, да ещё украдкой изредка тётя Тося. О тёте Нонне я не знаю. Папа словно препоручал себя их молитвенному подвигу. То-то и признавался он нам, что под Сталинградом остался жив, скорее всего, благодаря молитвам мамуси и сестёр. Тем не менее, нас он воспитывал, опираясь на христианские заповеди. Часто мы слышали от него: «да будет любовь между вами!», «не ходите на совет нечестивых», «удались от зла – и сделай добро», «кто чтит мать и отца – да будет долголетен на земли», «а где ваше послушание?» и т. д. Когда журил нас за наши проступки, не гневался, не раздражался, а как бы сожалел о совершённом. При этом сокрушенно качал головой.

За месяц до кончины, когда в больнице после операции он отказывался от пищи, я убеждал его не торопить смерть – это де в воле Божьей! Он отвечал мне, что мамуся-то тоже голодала перед концом. Но потом соглашался со мной, что это дело Божье. И ещё очень важный штрих: за несколько дней до своей смерти – а он знал, что ему остались считанные дни – он просил тётю Тосю: «Доца, молись о том...», – и он показал глазами на небо, давая понять, что обеспокоен своей потусторонней участью. Это рассказала мне сама тётя Тося.

Более по этому вопросу я ничего не смею говорить, ибо у каждого свои недоступные глубины души – тайна личности велика. После смерти он несколько раз являлся мне во сне с утверждением, что врачи «ошиблись», и что он жив. Кажется, он сам был этим чрезвычайно удивлен.

* * *

Насколько могу уразуметь, в своей жизни он последовательно одну за другой ставил себе насущные задачи. Папе вообще была свойственна целеустремленность. Всегда, прежде чем делать что-нибудь, намечал, планировал, ставил цели: будь то ремонт собачьей будки или написание отчёта для Москвы. Не жил просто так, наобум. И считал, что цели должны быть значительными, и что никогда не следует останавливаться на достигнутом. Мне очень по душе была эта его целеустремлённость. И я не спорил с ним, когда он говорил, что надо идти «в ногу с веком», «не пасти задних», «брать пример с лучших». «Посмотри, какими были Маяковский и Чкалов!»

Сам он закончил техникум, затем Воронежский сельскохозяйственный институт, а потом ещё Мичуринский садоводческий институт. Работал на испытательных участках генетика В.И. Вавилова. После войны заведовал разными сортоучастками: вёл селекционную работу по сортам яблонь и достиг замечательных результатов. Сетовал, что жизнь коротка: не все замыслы удаются. Хотелось ему сделать гораздо больше. Ближе к 80-ти годам силы уже покидали его.

Кроме основной работы, большое значение для него имели, конечно, **дом и семья**. Он был добрым семьянином. Всячески старался, чтобы семья была дружной, благополучной и держала высокую мерку нравственности и культуры. Если и возникали какие-то скандалы, он старался умиротворять и гасить их. Часто нам, детям, говорил: «Живите дружно, в любви друг к другу. Помните рассказ Толстого о венике...» Сам он был очень мирный человек. Об этом говорили многие. Редко гневался и негодовал.

* * *

Папа мог самозабвенно отдаваться работе какой бы она ни была, но умел и отдыхать. Среди своих он мог пошутить, созорничать. В обществе он умел быть светским человеком: любезным, остроумным, тактичным, весёлым. Прекрасно танцевал танго, фокстрот и другое, но лучше всего он вальсировал. Кавалер на загляденье! В молодости он был щёголем и одевался тщательно и со вкусом. В зрелые годы чаще ходил в костюме с галстуком и в фетровой или соломенной шляпе – в зависимости от погоды. Хорошо шла ему русская рубашка навыпуск. В быту одевался просто; любил кепки, серые, с длинным козырьком, в жаркое время футболки–«сеточки». Резкие, яркие цвета не любил: никогда я не видел на нём что-либо оранжевого, красного, ярко-жёлтого и чёрного цвета. Выбирал тона приглушённые, серые или светлые. Я тоже не люблю кричащие тона.

* * *

Не помню, чтобы он увлекался чем-нибудь особенно. Никаких хобби и пристрастий! В молодости он бегал на коньках, на лыжах, иногда ходил на охоту, но это не сделалось его страстью. То же и в отношении рыбной ловли. Книголюбом тоже не был, но умел ценить хорошие книги, особенно о природе – Пришвина, Паустовского. В юности читал Есенина, Маяковского, Толстого, Гёте, Макаренку. Что ещё – я не знаю. Поощрял мою любовь к книгам. Как-то привёз из Москвы мне трёхтомник писем Цицерона, другой раз – книги по математике. Не чуждался вникать в интересы детей, любил делать подарки детям, да и взрослым.

Кино, музыка, театр тоже его не занимали. Иногда мог что-то послушать, сходить с мамой в кино, но это было именно иногда. Его упоением и вдохновением был сад. Уже с утра он топтался среди своих яблонь и груш: что-то прививал, обрезал, сажал, прикапывал. Отовсюду

привозил всякую «всячину»: черенки роз, винограда, смородины, саженцы и семена черешни, грецкого ореха, хурмы... Пытался «приучить» к кубанскому климату инжир. Соседи заказывали ему сорта винограда и плодовых деревьев, зазывали на свои участки, просили что-нибудь привить, подсказать! Он был мастером своего дела.

Был он прекрасным, умным собеседником. Общение с ним доставляло мне удовольствие, особенно на серьёзные темы: научные, исторические, политические, иногда и мировоззренческие. Бывало папа ревновал, когда видел меня увлечённо беседовавшего с кем-то другим. Умел неторопливо подбирать и взвешивать слова. Жизнь сделала его мудрым, но это скорее всего была «мудрость века сего». Мистичным, кажется, он не был.

Были, конечно, у него свои слабости и недостатки. Но я не берусь об этом писать. Отмечу лишь одно – это некий налёт сибаритства, который подчас расслаблял его, не позволяя достигнуть большего. Ведь способности его были незаурядными, надо было прилагать лишь больше усилий для их реализации. Так, например, у него был замечательный литературный вкус, да и писательские способности. Но он не воспользовался ими, чтобы оставить после себя что-нибудь значительное и притягательное. С трудом я уговорил его написать хоть какие-то воспоминания. И он прекрасно написал несколько десятков страниц о своём детстве и юности, достаточно бурной. Надеюсь, что в Усть-Лабинске сохранились его письма ко мне, написанные, кстати, великолепным каллиграфическим почерком. У мамы почерк был довольно корявый и торопливый. У меня что-то среднее.

Таковыми были мои родители, какими я знал их. Конечно, это субъективно, очень скудно и поверхностно – ведь каждый человек «вмещает» так много всего, но большая часть, до 99% из этого обретается в глубоких тайниках души его. Разве схватишь всё! Однако я надеюсь, что даже эти мои жалкие заметки дадут некоторое представление о дорогих мне людях.

В начале жизни

Родился я 6 августа 1944 года в семье Меловатских Степана и Лидии в Кировском районе Сталинграда, в посёлке Бекетовка, там, где находилась Сталгрэс. То, что я родился в этом месте, считаю особым знаком судьбы. И вот почему. Сталинград – не просто географическая точка, это точка безсмертия России. Полтора года назад здесь полыхала величайшая в истории битва. Величайшая не только по своим масштабам, но и по значению. С этого момента история сделала великий поворот в судьбе России (и мира), поворот на осуществление небывалой до сих пор миссии планетарного значения! Соответствующим был и экзамен! Не сразу это было осознанно, но чем более отдаляется это событие, тем всё яснее осознаётся его значение.

Для меня онтологически решающим было то, что папа чудом остался жив в самом начале этой жестокой битвы, в которой ему довелось принять участие. Будучи преследуемым немецким самолётом на подступах к Сталинграду, он был лишь ранен в ногу. Было это в августе 1942 года. Погибни он (или моя мама – радистка) – кто произвёл бы меня на свет? После ранения папа лечился в Астраханском госпитале. Там он и познакомился с моей будущей мамой Лидией Ивановной Орловой. Вскоре они поженились. Новобрачные не откладывали с первенцем, и уже с ноября 1943 года ожидали моего появления на свет.

После госпиталя папа был направлен в тыловые части НКВД работать в лагере военнопленных, взятых в Сталинградских боях. Он был в звании лейтенанта и отвечал за пропитание военнопленных, ведь он был агрономом, да ещё и вавиловской выучки. Папа лично знал великого генетика Вавилова, так как до войны работал под его руководством. Он организовал подсобное хозяйство и огород, где пленные сами выращивали для себя овощи.

Лагерь для военнопленных находился в пригороде Сталинграда – Бекетовке, там для них были бараки. В то время, как Сталинград был полностью разрушен, Бекетовка осталась целёхонькой. То ли потому, что немцы для своих «зимних квартир» старались сохранить расположенную там электростанцию СталГРЭС (ныне ВолГРЭС); то ли потому, что центр сражения пришёлся на Мамаев курган и на заводы, то ли по каким другим причинам.

Так или иначе, а небольшой рабочий посёлок Бекетовка при СталГРЭС сохранился и жил своей жизнью. Семья Меловатских поселилась в трёхэтажном кирпичном доме № 12 по улице имени 1-ой пятилетки (ныне это дом № 2) и заняла однокомнатную квартиру на первом этаже под № 14.

Всё это я узнал в архиве Сталинграда, и от жителей данного района. В марте 2009-го года я был там и видел этот дом и квартиру на первом этаже, где мы жили во время войны. Необъяснимое, святое чувство овладело мной, когда я заглянул с улицы в окно «своей» комнаты! Во дворе были всё те же дровяные сарайчики («сажки») и казалось, что те же люди сидели во дворе на лавочке.

Моя мама до замужества работала радисткой на рыболовецком плавзаводе. Она хорошо владела азбукой Морзе, работала на «ключе». Во время войны её как радистку призвали во фронтную часть, но по болезни (острый радикулит) она вскоре была отправлена в тыл. А многие её подруги-радистки погибли на фронте.

* * *

Голодное военное время сказалось на здоровье мамы и на моём: на свет я появился бездыханным. Слава Богу, акушерка как-то вернула меня к жизни – я задышал! Началась моя, едва не прекратившаяся жизнь. Всё это я узнал уже спустя много лет! И то лишь потому, что однажды в сновидении (мне было уже за 40 лет) акушерка показала мне моё бездыханное тело

после родов и сказала: «Не жилец!» Когда впоследствии в Усть-Лабинске я увиделся с мамой и рассказал ей этот сон, она призналась, что, действительно, я родился мёртвым, несмотря на хорошее телосложение (особенно груди) и, может быть, благодаря именно этому я и выжил. Впоследствии это обстоятельство не могло не сказаться на моём развитии. В 2012 году (когда мне было 68 лет) я прочёл в «*Dichtung und Wahrheit*» Гёте, что подобное было и с ним – и испытал странное удовлетворение. «Вражья сила» и в последующей моей жизни неоднократно давала себя знать.

Конечно, я вряд ли помню хоть что-то из ранней своей жизни. Тем не менее, когда в 2009 году я отыскал в Сталинграде свой первый дом – я был глубоко тронут. Был солнечный мартовский день (30-е марта), едва-едва проклёвывались первые листочки, и мне показалось, что я узнаю дом, и квартиру на первом этаже, дровяные сажки во дворе! Скорее же всего, в действительности на меня подействовал сам этот изумительный дух встречи с первоначальным моим бытием: что-то неуловимое и невыразимое, и в то же время очень реальное повеяло на меня от тех давних дней.

С женой Антониной нашёл я и Никитинский храм в посёлке «Отрада»: голубой, построенный в 1795 году в стиле барокко. В годы войны служба в нём не прерывалась ни на один день. И ни одна бомба не упала на него! Рядом с храмом нашли мы и могилку отца Павла (с белым мраморным крестом), служившего там в те годы и почившего в 1957 году. Судя по тогдашним записям папы, я решил, что именно здесь и крестила меня мама. Больше нигде было. И сделано это было по её инициативе. Долго хранился у меня крестильный крестик – свидетель этого таинства. Латунный, самодельный, возможно, выточенный из боевой гильзы. По беспечности своей я утратил его в 1993 году. И до сих пор жалею об этом, и прошу прощения у Бога.

* * *

1945 год, август–сентябрь. Закончилась вторая мировая война. 6 августа 1945 года город Нагасаки (Япония) был испепелён взрывом американской атомной бомбы, впервые в истории человечества сброшенной США на живой город. США таким образом хотели устрашить Советский Союз. Но тщетно – в ответ мы уже готовили свою бомбу, которая и была испытана в 1949 году. В этот день мне исполнился ровно год.

А к концу 1945 года Степан Петрович Меловатский был освобождён от службы в лагере сталинградских военнопленных и теперь был волен выбрать себе место жительства и работу. Молодая семья покидает Сталинград и пускается, аки цыгане, «путешествовать» по стране, ещё не остывшей от войны. По желанию папы со мною годовалым они едут на Украину. Прибыв в город Полтаву, папа оставляет маму и меня и едет один дальше, на Западную Украину.

Тем временем мама бедует со мной в Полтаве. В этот момент Промысл Божий спасает нас. Хозяйка дома, где приютилась мы, пожалела нас и предупредила маму: «Куда же он поехал! Там же всю люют бандеровцы!!! Русских они без разговора убивают... Что Вы! – разве можно туда, да ещё с малым хлопчиком?!» По его возвращению мама передала это папе. Приняв это к сведению, папа решил ехать к своей родне на Кубань, в станицу Усть-Лабинскую. В Усть-Лабинской на улице Широкой 58, в самом центре станицы, в кирпичном государственном доме, мы и приютились у родни папы на полгода. Здесь был словно «ковчег» Меловатских: бабушка Марфа («мамуся»), её взрослые дочери: Параскева (Паничка), Евдокия, Антонина, Нонна. И их мужья: Василий Николаевич, у Евдокии муж погиб на войне, Пётр Иванович Дылев (муж тёти Тоси), Константин Васильевич (муж тёти Нонны), взрослые дочери Пани и Евдокии – Лилля, Лида и Кира. Едва ли не сразу по приезду (это было под Новый 1946 год), мама сделала первое в моей жизни фото – меня, стоящего на стуле.

Сохранилась редкая фотография, сделанная по инициативе Кирочки в **начале февраля 1946 года**, где запечатлены собравшиеся родственники Меловатских. Все молодые, преиспол-

ненные надежд, в предвкушении грядущей жизни. Уцелели в войну – теперь жить! Здесь я полуторогодовалый, уснувший на коленях своего папы. Где-то через несколько дней после фотографирования, 10 февраля 1946 года родилась моя сестрёнка Аня.



Усть-Лабинск, 1945 год. Папа с годовалым Валерием на руках и мама среди Миловатских родичей, вернувшихся с войны

Мамуся моей новорождённой сестре дала имя Анна. Видимо, в память о своей маме Анне. Подробности о своём рождении мне написала Аня в письме от 12 июля 2014 года: родилась я «в морозное воскресенье – все были на выборах, а мамочка не могла под тремя одеялами согреться». А когда пришла весна, наша мама с трёхмесячной малюткой уже сажала на пайке в степи кукурузу. Было жарко, и она положила маленькую Аню в тень под бедарку, на которой они приехали. И 3-месячная Аня под бедаркой терпеливо «ожидала» маму.

До сентября 1946 года мы все жили у Дылёвых. Это было нелёгкое житьё, особенно для мамы. Тётя Тося, да и тётя Нонна часто «напускались» на маму, обижали, так что добросердечная тётя Паня подчас урезонивала своих воинственных сестёр: «Что же вы делаете? Она же сирота!»

* * *

А теперь о драматическом эпизоде из моей жизни. В конце августа или в сентябре 1946 года я перенёс первую в своей жизни операцию, преодолев ещё одну (вторую) линию смерти, обозначившуюся на моём пути. По рассказам папы, мамы, тёти Дуси и тёти Тоси дело было так. Экономная тётя Тося, кормила меня кукурузной кашей, в которой практически никаких витаминов и белков нет. Время, конечно, было голодное, послевоенное, но неужели у всей родни не нашлось чего-то жизненно необходимого для ребёнка? По этой ли причине или по какой-то другой у меня в глотке образовался большой карбункул. Он стал таким, что перекрыл мне дыхание. Я начал задыхаться и был на волосок от смерти. Не знаю, где в это время была моя мама, возможно уже на Волконке. А папа, кажется, приехал в это самое время и увидел,

что я задыхаюсь и что уже посинел. Он заплакал и понёс меня в больницу. Там в это время дежурила тётя Дуся. Она работала хирургической медсестрой. Может быть, даже она первой заметила моё состояние (как она сама рассказывала). В больнице тётя Дуся попросила срочно сделать мне операцию. Хорошо знакомый ей хирург тотчас вскрыл мой карбункул с внешней стороны горла. Вышло полстакана гноя – я задышал и сразу порозовел. В очередной раз спасли меня от гибели.

После этого папа оставил меня долечиваться, а сам снова уехал на Волконку. По рассказу тёти Тоси в это время в Усть-Лабинскую приехал дядя Ваня, мой заочный крёстный. По специальности он был ветеринаром. Когда он увидел, как поступали со мной, возмутился, укоряя тётю Тосю за то, что ребёнку не давали даже моркови. Тут же сам взял морковь, натёр на тёрке – и накормил меня!

Вскоре после своего приезда этот прекрасный человек неожиданно и скоропостижно умер. То ли вакцина какая-то попала в глаз, то ли инфекция случилась, но 12 мая 1947 года его не стало. Мне до сих пор его жалко. Едва ли я его запомнил, хотя порой мне кажется, что я помню его и с большой симпатией. Когда тётя Тося 19 сентября 1946 года родила Любу (имя ей тоже дала мамуся!), дядя Ваня крестил и её, став крёстным, хотя и был в компартии. Всё своё внимание тогда тётя Тося переключила на новорождённую Любу, и я сам «заботился» о себе. По вечерам, уже в постели, я спрашивал тётю Тосю: «Не съедят ли мою кукурузную кашку мыши?» Тётя Тося рассказывала, что я часто подходил к кровати Любочки и интересовался ею. Мне было уже два года и полтора месяца. А когда послеоперационный шрам у меня зажил, приехал папа и забрал меня на Волконку.

По рассказу папы он сначала думал устроиться работать в Усть-Лабинской в колхозе «Кубань», где тогда председателем колхоза был Карамышев. От него, видимо, папа и получил паёк весной. Тётя Нонна тоже собиралась там работать. Папа потом рассказывал о чудных абрикосах из сада Карамышева. Однако почему-то эти планы не сбылись.

* * *

Здесь я должен сказать об одном странном воспоминании, которое на протяжении ряда лет моего раннего детства всплывало в моём сознании. Перед моим умственным взором в видении возникали, ни с чем не связанные, то ли отвесные скалы, то ли стены **свинцово-мрачного** цвета. Они почему-то завораживали меня и представлялись загадочными, какими-то изначальными, словно из древних геологических эпох. Впоследствии я неоднократно пытался привязать их к чему-то из знакомых мне реалий: к серым скальным «откосам» вдоль береговой железной дороги, которые я мог видеть из окна вагона; к виду терриконов Донбасса и т. д. Но тщетно, это первичное воспоминание не походило на них. Оно было какое-то особенное. И я допускаю мысль, что это – одно из впечатлений предыдущей моей жизни, может быть, из потустороннего мира.

Волконка

И вот она Волконка – страна моего необычайного детства, где в октябре 1946 года мы наконец-то всей семьёй оказались вместе. Расположена она на отрогах Кавказских гор у самого моря, в десяти километрах восточнее станции Лазаревской. Место для меня легендарное и сакральное, первоженное. Волконка – первоначало моей сознательной и памятной жизни. Отсюда истоки главных моих впечатлений, проблем, потрясений, размышлений, творческих порывов и ожиданий. Это целый мир, замкнутый в себе. И как же велик он у маленького человека! Как необычен, как памятен! Конечно, 99,9% воспоминаний забылись, но то, что осталось, имеет большую силу, влияет на всю мою жизнь и до сего времени.

Наша жизнь на Волконке длилась **три года и восемь месяцев**; по другому счету – четыре зимы. Она естественным образом разделилась **на два периода**: на **Воробьёвский**, и на собственно **Волконский**. Эти два периода, будучи единым житием, заметно отличались.

Всё началось с того, что министерство сельского хозяйства назначило папу заведующим Лазаревского госсортоучастка на побережье Чёрного моря. А сортоучастка-то никакого и не было – его надо было ещё создать. Каково было сделать это в горах, на покрытых девственным лесом склонах! Но это не препятствие для таких людей, каким был папа! Мой папа был исключительно инициативной личностью. В настоящие годы я это особенно понимаю! Тогда же московским начальством (госкомиссией по сортоиспытанию плодово-ягодных культур) ему самому было дано право определить место для сортоучастка.

Как он сам мне рассказывал, он объехал всё побережье от Геленджика до Сухуми и решил, что сортоучасток будет на Волконском плато по соседству с домом отдыха военно-воздушных сил, неподалёку от курортного городка Лазаревское. Если ехать по железной дороге, то надо было выходить на остановке Чимитоквадже. Сейчас сделали ещё остановку «Сортоучасток». Теперь это уже не глухое место – а целый курортный посёлок. Так история отметила инициативу папы!

Собственно, территория будущего сортоучастка располагалась на плато, ограниченным с севера грядой вздымающихся гор, с боков – их отрогами, с юга – морем. Надо было обладать недюжинной решимостью, чтобы взяться взращивать сад на таком месте. И никакой тебе техники, ни лошадей, ни рабочих... Всё надо было добывать, изыскивать, изобретать самому. Человеку, бывшему на войне и чудом оставшегося живым, это не было чем-то фантастическим. Он и добывал, и изобретал! Не зря и ходил он в офицерской шинели. Надо было корчевать лес, прокладывать горную дорогу, распахивать площадки под посадки, сооружать жилые и служебные постройки. Для этих работ он отовсюду собирал людей. Приглашал и своих родственников: дядю Матюшу из Пятигорска, из Усть-Лабинска дядю Петю и дядю Костю, а ещё дядю Гену Васильева с семьёй, который, желая здесь обосноваться, приехал аж с Дальнего Востока, из Комсомольска-на-Амуре. Они и корчевали, и дорогу прокладывали, и строили, орудуя то киркой, то лопатой, то топором.

Нельзя сказать, что Волконка была совсем безлюдным местом, вовсе нет. Здесь и кроме нас жили люди: несколько человек на Воробьёвке; у железной дороги – семья путевого обходчика; на склоне западного отрога был небольшой посёлок, где жили греки; был лесник... Но всё это представлялось мне жалкими человеческими вкраплениями в густом массиве субтропического леса, терялось в складках гор. Человеческие усилия удержаться во владениях могущественной природы мне, ребёнку, казались жалкими и несерьёзными. Тогда я ещё не знал, что у человека есть своя сила, свой способ побеждать.

Жизнь на Воробьёвке

Итак, Воробьёвка. В двухлетнем, даже в трёхлетнем возрасте мало что крепко оседает в памяти. Тем не менее, кое-что наиболее поразительное и сильное запомнилось.

В апреле 1947 года, когда мне было два года и восемь месяцев, а сестре годик с небольшим мне пришлось пережить сильнейший стресс в моей жизни. Замкнув меня и сестрёнку Аню одних в комнате, родители ушли сажать огород. Мама попросила соседку Семёновну приглядеть за нами, но я не помню, чтобы она хоть раз к нам заглянула.

Итак, мы одни с сестрёнкой. Вначале я пытался как-то развлекать её, всё время повторяя про себя, что вот скоро придёт мама... Время двигалось как-то чрезвычайно медленно, мне оно казалось вечностью. Через какое-то время сестрёнка покакала прямо на пол посреди комнаты. С этим надо было что-то делать. Я набрал из печки пригоршню золы и посыпал на её каку. Сестрёнка, видимо, решила сделать всё по-своему и стала рукой размазывать кал по комнате. Я пытался воспрепятствовать этому, но не смог с нею справиться. В результате – она вся в каке, а я – в золе. Сперва мы крепились в надежде, что скоро подойдёт мама. Но её всё не было. Всё больше трагизм положения (я так это воспринимал!) овладевал мною. Меня охватило отчаяние. Казалось, что нашему одиночеству и покинутости не будет конца: и мама никогда не придёт, и папа, и мы останемся навсегда взаперти, всеми забытые. У меня было чувство – словно мы оказались заброшенными на какую-то безлюдную планету... Отчаяние моё было столь серьёзным, что потом во всей последующей своей жизни ничего подобного я не переживал, хотя испытаний хватало.

От безысходного горя мы стали реветь в два голоса и ревели долго. Но от этого легче не было, а наоборот, становилось ещё worse. Когда я уже был в почти невменяемом состоянии, близком к психическому срыву, наконец-то отворилась дверь – и явились родители. Но мы были так расстроены, что ещё какое-то время не могли успокоиться. Конечно, мама быстро помыла нас, всё вычистила – и жизнь обрела смысл, полноту, правильность.

Были на Воробьёвке и замечательно желанные, чудесные моменты. Папа, как положено, зимой составлял для Москвы отчёт о проделанной работе. Это было завораживающе! Он рисовал акварельными красками план сортоучастка и какие-то схемы. Я смотрел на его работу и меня больше всего привлекали краски своим цветом и запахом. Я с наслаждением вдыхал их вкусный медовый запах и мне хотелось их лизнуть. Папа объяснял, что сделаны они на меду, но рисовать ими мне не позволил. Впоследствии, когда я уже ходил в школу, это раннее знакомство с акварельными красками проявилось в каком-то особенно трепетном отношении к акварельной живописи. Конечно, к тому времени я уже сам всюю рисовал и акварелью, и даже маслом.

Павел Флоренский особое значение придавал формам и остро чувствовал их напряжение. Для меня, пожалуй, такое особенное значение изначально имеют **цвета**. Я ярко чувствовал напряжение цвета, чувствовал как-то физически, психически и даже духовно. О таких художники говорят – колорист.

Оранжевый (папа называл его жёлто-горячим – и мне это очень нравилось: именно горячий цвет!) я ощущал раскалённым и столь же ярко-вызывающим, как близкие ему по цвету фрукты: мандарины, хурму, апельсины. Очень жизнерадостный, огненный цвет! Сейчас в больших дозах он раздражает меня – а тогда вдохновлял!

Розовый, а ещё более – тепло-розовый, да если ещё на фоне зимне-снежного или осеннего пейзажа, был чем-то домашним, своим, неожиданно радостным. Помню, какое очаровывающее, необычайно-неземное впечатление вызывал тепло-розовый отсвет закатного солнца на белой стене нашего домика. Это было что-то мистическое, одухотворяющее, зовущее и вместе с тем умиротворяющее. Словно светоносный ангел озарил своим сиянием!

Всегда любил зелёный цвет, его спокойное, умиротворяющее присутствие в мире. Где-то рядом по значению ощущал голубой-небесный, возвышающий, зовущий. Синий же казался мне строгим, решительным. Станным, соблазняющим, не от мира сего виделся сиреневый. Это звон серебряного колокольчика, фея-туманов. Лиловый (фиолетовый) – загадочный, отчуждающий, какой-то даже опасный, рискованный. Красный хорош на своём месте: в лесной землянике, в спелом арбузе. На небе же или в одежде он вызывал тревожное, беспокойное чувство.

И вот, наконец, жёлтый! Хороший, светлый цвет, но какой-то двоедушный, ему не хотелось доверяться. Прекрасен нежно-жёлтый на лимоне, в волшебном отсвете белых ночей Питера. Но жёлтые бабочки, дома, глаза и даже прекрасные пожелтевшие осенние листья навевали на меня что-то зыбкое, преходящее, меланхоличное.

* * *

С наступлением весны 1947 года мы уже вовсю играли во дворе. Хорошо помню мою затею с «комнатами». Подметая метёлкой двор, я наслаждался чистотой, получавшейся в результате этой моей деятельности. Затем смекнул из наметённого мусора сделать «оградки»-валики и, используя их, оконтурить «комнаты-дворики». Я с сестрой ходил по этим «комнатам», где вместо стен были валики, – и радовался своей придумке.

Неприятно памятно другое «приключение». Это было тоже весной этого года. На Воробьевке жил мальчишка Толька Кобов, лет семи. Однажды с сестрой мы пошли с ним в лес погулять. Был чудный солнечный день. И всё бы хорошо, да только вздумалось Тольке «подшутить»: обнаружив в дупле лежащего старого дерева козы катышки, он предложил их моей сестре, выдав их за орешки! Я этому препятствовал, но слишком робко. До сих пор стыжусь себя за свою робость. Впрочем, всё это я описал в книге «Россия» с видоизменениями.

И всё же отрадного в той жизни было больше. Одним из таких отрадных моментов был поход с папой за земляникой. Обаяние этого папиного сюрприза до сих пор греет мне душу.

Это было, надо думать, в мае или июне 1947-го года, когда мне исполнилось без малого – три года. Папа заранее разведал земляничную полянку недалеко от нашего местожительства и в одно прекрасное утро привёл меня туда, ни о чём не предупредив. До этого земляники я никогда не видел. Когда же на полянке он показал мне эти алые капельки чудо-ягоды – я ахнул! И аромат, и цвет, и вид их – это было так волшебно, так хорошо, что у меня слов не хватает описать их. Из-под каждой травинки или кустика выглядывали эти живительные, удивительно ароматные капельки жизни. Ими невозможно было насытиться! Не физически – а психически, эстетически!

Помню, что мы свернули кулёчек из широкого, мягкого листа горицвета и наполнили его этими чудесными ягодами. И папа радовался вместе со мной. Кажется, домой мы тоже принесли земляники.

* * *

Другое чудо, которое тогда завораживало меня – это родничок! Вернее, струйка воды, бежавшая по жёлобу, торчащему из пня. Вода хрустальная, вкусная, живая, и какая-то загадочная. И если Флоренскому в капли слышалась величественная музыка Баха, то мне в этом струении-журчании виделось что-то таинственное и вместе с тем неиссякаемо-живительное, некий Urphenomenon жизни, прообраз её. Он притягивал, радовал, живил! Уходить от него не хотелось.

Совсем недалеко от нас жило своей жизнью море. Оно воспринималось как что-то совсем другое, другая стихия, другая тайна. Да я и не помню, чтобы в 1947 году мы ходили купаться

на море. И родителям было не до того: слишком напряжённой была работа у папы; и мы, дети, были слишком малы.

Иногда мама ходила за продуктами в магазин, который был в доме отдыха ВВС. Помню, как однажды она взяла меня с собой, и как я натерпелся там страха. Дом отдыха был за «спиной» нашего дома, метрах в 150. Чтобы попасть туда, надо было перейти по мостику через очень глубокое ущелье. И вот мама ведёт меня по жидкому настилу мостика, а я, ступая осторожно, глаз не могу отвести от зияющей под нами бездонной пропасти. А доски на мостике поскрипывают, в щели видна пропасть – ужас! Может быть за всё время, пару раз и ходил туда, вообще же не любил этот маршрут.

Звёздная встреча

Вот, наконец, заветное, связанное тоже с Воробьёвкой. Самое, может быть, необыкновенное и значительное воспоминание из моей жизни. Это было летом, то ли в июне, то ли в августе 1947 года, мне уже исполнилось три года. В три года человек уже достаточно зрелый!

Ночевать в комнате было жарко и душно; видимо, и Васильевы (наши родственники), спящие на полу вповалку, стесняли. Папа решил спать на воздухе. Во дворе, под открытым небом он устроил лежанку. Вбил колья из граба, на них сделал настил, который возвышался над землёй метра на полтора. Это чтобы нас не достали шакалы. Когда наступало время спать, он подымал на эту лежанку сперва меня, так как мне было не влезть на неё, а затем взбирался сам. Прижавшись к нему, большому и сильному, лежал я на открытом пространстве, впитывая ночные звуки и запахи, и смотрел на простёртое над нами высокое южное небо: нигде ни огонька – тёмная-тёмная густая ночь. Одни яркие звёзды над нами. Только они!

И вдруг, **именно вдруг**, меня ошеломило, пронзило это **захватывающе острое** видение звёздного неба! Что это за сияющие россыпи тайных зрачков, уставившихся на меня?! Они сияли и манили меня эти миры, недостижимые, неземные, потрясающе значительные, притягивающие и как-то **непостижимо вонзающиеся** в меня, в мою душу, в самую глубину её! Они словно звали о чём-то ко мне. Смотрел ли на меня Орион, впоследствии полюбившийся мне – я не знаю.

Это был акт какой-то тайной и потрясающей **встречи**, акт вскрытия моего **вселенского самосознания**, который трудно, почти невозможно описать, но который сильнейшим образом вошёл в меня – и живёт-светит во мне всю жизнь. В дальнейшем за ним последовали и другие, не менее потрясающие акты пробуждения моего самосознания. Но этот – особенный!

И что очень важно – я почувствовал и понял факт **великой тайны** этой встречи, этого мгновения. И поэтому никому ничего о нём не говорил на протяжении многих десятилетий моей жизни. По крайней мере, до нынешнего 69-го года своего возраста. Да и невозможно было бы его кому-нибудь изъяснить – это моё внутреннее, несказуемое, и неизъяснимое. Когда же у кого-нибудь я встречал хотя бы намёк на пережитое мною – на того я смотрел как на самого близкого и сокровенного **собрата по великой тайне**, как на великих посвящённых. Так я почувствовал Лермонтова и сразу выделил его среди других писателей. Потом Толстого, Тютчева и Твардовского (по одному его стихотворению). А ещё Николая Рубцова и, как ни странно, Канта. Сказал, и будет!

Р. С. Передо мной предстали бездна и бытие, бесконечность небытийности и точки бытийного сопротивления, узелки бытия и жизни. Предстали все эти галактики и метagalактики, квазары и то, что неведомо и не имеет названия. И удивительно! До этого ведь никто не рассказывал мне ни о звёздах, ни о Галактиках, ни о Вселенной.

Косые лучи солнца

Было у меня ещё одно необычное детское переживание. Оно связано с руинами, по нашей догадке бывшей усадьбы Волконских, расположенной ближе к морю, чем Воробьёвка, неподалёку от железнодорожного моста. Они представляли собой остатки кирпичных стен, стайку одичавших невысоких лимонных деревьев, заросли удивительно пахучего розового и белого шиповника, и одинокую магнолию, расцветающую ежегодно огромными белыми цветами.

Действительно ли здесь была усадьба Волконских или она была в другом месте, скажем, на территории дома отдыха – уверять не берусь. Всякий раз, когда я с папой (почему-то именно с ним!) забредал сюда, меня охватывало ощущение чего-то загадочного, грустного, ностальгического. Словно какие-то дальние мои предки жили здесь, чувствовалось что-то давнее, историческое.

Однажды придя туда и любуясь лимонными деревцами и вечерним, уже не жарким солнцем – я вдруг пережил нечто таинственное, мистическое. То, что, кажется называется «*deja vu*». На какое-то мгновение я ощутил, что всё это со мной уже когда-то было: и этот закат, и лимонные деревца, и запахи, и весь ток жизни, и **особенно эти косые лучи вечернего солнца** (у Достоевского тоже где-то упоминается со значением «эти косые лучи солнца! «). Странно-странно так: будто жизнь и не двигалась, и я вечно созерцал всё это. И в тоже время некое **раздвоение**: будто я был **в вечности и одновременно в этой текущей жизни**.

Тогда меня это тихо поразило. И хоть голова моя несколько как-бы закружилась, я успокоил себя тем, что я-то нахожусь здесь, в этой текущей действительности, никуда не уплываю; не исчезаю; что это мне просто так показалось, просто некое психическое переживание – и ничего странного и необычного в этом нет. И что это, видимо, со всеми бывает, и со мной уже не раз бывало, да я не обращал на это особенного внимания.

С годами эта моя способность утратилась. И я понял, что это было совсем не заурядное явление – не всем оно дано, и что за ним какая-то тайна, которую-то и описать непросто. Мистические люди (кому это дано) говорят, что в подобные мгновения проявляется, прорывается глубинная память души, самосознания, память предыдущих жизней. И мне догадывалось, что это приоткрывалась память моей жизни где-то в тропической или в субтропической стране, в Китае, или в Индии. В дальнейшей своей жизни, я, действительно, много и охотно интересовался Индией и особенно Китаем.

Ещё маленький штрих из нашей тогдашней жизни, свидетельствующий о сирости её. За ручьём были качели. Мы иногда приходили туда покачаться. На качелях мы часто встречали Таню, девочку лет трёх, дочь железнодорожника, жившего неподалёку от железной дороги, проходившей по над морем до Сочи и дальше. Девочка эта была неразговорчива и постоянно простужена. Дома я прозвал её «Таней-сопливой» и не сдружился с нею, несмотря на обделённость в общении.

Но достаточно о Воробьёвке, тем более, что многое о жизни на ней «выветрилось». Перейду к жизни собственно на Волконке, и к переселению в новый дом.

Собственно Волконка. В новом доме

Пока мы бедовали на Воробьёвке, папа, облюбовав местечко в лесном массиве, начал строить для нас дом. И уже весной, а может быть и зимой 1948 года мы перебрались **в новый дом**. Это было большим событием в нашей жизни. Мне тогда было уже три с половиной года. Собственно, с этого момента ведёт отсчёт моя вполне сознательная жизнь.

Домишко наш был предельно скромным и даже невзрачным. Но нам он представлялся просто великолепным, ведь до этого мы ютились в тесной комнатёнке, где негде было развернуться. Новый домик стоял на небольшом пригорке в двухстах метрах от моря, так что из окна его хорошо было видно. Сооружен он был на невысоких дубовых сваях; жилая площадь была метров 18–20, это с кухней. Одно окно смотрело на юг, в сторону моря, другое – во двор. С восточной стороны вдоль дома располагалась веранда. Там же была лёгкая, если не сказать хлипкая, дверь, до половины застеклённая. В то время можно было жить и с такой дверью. (Нынешнее время не такое: с железными дверями, домофонами и т. д.) Крыша дома – двускатная, покрытая дубовыми дранками, пол деревянный. Стены были из деревянных плашек, обмазанных глиной и побелённые на манер украинских хат. Строительным материалом для него послужили дубы и грабы, что росли вокруг и выкорчёвывались для сортоучастка. Почти одновременно с нашим домиком была построена контора с жилым помещением, в котором поселился рабочий Пётр Петрович с женой и сыном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.